

## МЫ – ПОКОЛЕНИЕ ОПТИМИСТОВ<sup>1</sup>

*А.П. Козырев*

*Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова*

**Аннотация:** *Статья представляет собой очерк времени студенчества ее автора, пришедшегося на 1985–1992 годы, время слома советской системы и резкого изменения исследовательской и преподавательской парадигмы в философии. Из идеологической доктрины философия превращается в широкий кругозор мировоззрений, «трансцендентальный фон культуры» (Ю.М. Лотман), базис гуманитарного и общекультурного знания. В статье в свободной авторской манере приводятся воспоминания о философском факультете МГУ и Институте философии этих лет, о журналах «Начала» и «Логос», о сообществах, существовавших в ту пору. Высказывается мысль о том, что в истории поколений очень важными являются точки разрывов и размежеваний.*

**Ключевые слова:** *философский факультет МГУ, Институт философии, русская философия, «Логос», «Начала», «Летописец», музыка, Вл.С. Соловьев, С.С. Аверинцев, С.С. Хоружий, Г.С. Кнабе, А.В. Панин, В.В. Миронов.*

Первые курсы на факультете совпали с первыми годами горбачевской перестройки. Еще не понятно было до конца, что и куда идет, и жуткой фрондой казались высказывания профессора Чанышева на семинаре о том, что не стоит читать советских газет (свежая пресса каждый день продавалась тогда в ларьке возле поточных аудиторий), или вскользь брошенные слова хорошо одетой преподавательницы по научному коммунизму о том, что Ленина надо не читать, а «листать». Лекции Майорова и Доброхотова, Подольского (по психологии) и Козаржевского (факультативы по памятникам культуры) высветляли общий довольно-таки серый фон учебных будней. Семинары по диамату вел начальник курса старший преподаватель В.В. Миронов. «Вы можете заниматься чем угодно, – наставлял он нас, – но преподавать вам все равно придется диалектический и исторический материализм». Однако мы с удовольствием ходили на его семинары, на них можно было свободно поговорить, не смущаясь, что нас одернут за «ересь» и «отсебятину». Сегодня вспоминать это и волнительно, и грустно, в дни, когда мы прощаемся с ним, столь неожиданно и преждевременно ушедшим из жизни. На его похоронах встретилось сразу несколько философских поколений, для моих однокурсников его уход отозвался особой личной болью.

<sup>1</sup> См.: Философские поколения / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – С. 732–747.

На факультете было тогда три отделения, и студенты весьма отличались – значительная часть поступивших на «философию» школьников были «умниками» и «умницами», пришедшими учиться, правда даже до конца не зная чему, «научные коммунисты» держались несколько особняком и в силу более старшего возраста начальственно и наставнически по отношению к мелкоте, прямиком чая на партийную (ну, в худшем случае, комсомольскую для начала) карьеру, социологи были более приземленно настроены и больше походили на нормальных людей. Значительную часть обучающихся составляли «нацкадры», люди, приехавшие по направлению из союзных республик и дружественных стран соцлагеря и тех, где сильны были коммунистические партии, – Греции, Кубы, Кипра. Для меня это не было такой уж новостью, в моей московской «французской» школе тоже учились иностранцы, дети дипломатов из Мадагаскара и Мали, но все же именно факультет стал таким практикумом по интернациональному общению. С Субхи Шихлинским, приехавшим из Азербайджана, мы сошлись на почве классической музыки, а именно любви к итальянской опере. Он знакомил меня с мугамом, давал слушать пластинки с Гаджибековым и Ниязи. Мы устраивали вечера классической музыки в общежитии (Дом студентов на Вернадского), он приносил проигрыватель, я – пластинки, готовил беседы. Пригласили Дагмар Миронову, чтобы поговорить о Вагнере. Общежитие было центром общения, помню, весь второй курс я был там частым гостем, ставили капустники, репетировали пьесу Козьмы Пруткова. Общежитие было не только местом радостного общения, периодически кто-то прыгал с верхних этажей, сводя с жизнью счеты. Уровень школьной подготовки был довольно невысок. Это сегодня принято идеализировать советскую школу. Думаю, что сегодняшние выпускники школ знают гораздо больше, чем знали мы. Поэтому нормальным явлением был снобизм. Когда я услышал от кого-то из однокурсников, что в Историко-архивном будет выступать Лосев, я не придавал этому особого значения. Гораздо больше интересовал меня концерт Владимира Горовица, который приехал в Москву один-единственный раз, в 1986 году. Впрочем, на него попасть мне не удалось. Но зато уже к концу второго курса я прочитал лосевского «Владимира Соловьева» из серии «Мыслители прошлого» (ничего не зная еще о злоключениях этой книжки) в читальном зале «стекляшки», первого гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Готовясь к семинарам, читая практически каждый день назначенную литературу, мы не особо были осведомлены в том, что происходит в современной философии и что значит быть философом.

Тем ценнее были некоторые «прорывы» за пределы факультета. Некоторые из наших однокурсников устраивались на работу дворниками, им давали временное жилье, в центре Москвы, в домах, назначенных под снос. Но часто эти расселенные дома дожидались сноса годами, студенты обживались, и получались весьма уютные квартиры в районах, где теперь поселиться могут только сверхобеспеченные люди. Антон Петренко и Вася Голубев жили в такой квартире на Савинской набережной (один сейчас живет в Голландии, а другой – в США!). Иногда мы собирались у них и приглашали старших – один такой вечер я помню. В гости пришли Неля Васильевна Мотрошилова и Юрий Александрович Замошкин. За чаем и каким-то нехитрым угощением (алкоголя на этих вечерах я что-то не припомню, да и к тому же было время горбачевской борьбы за трезвость) шла неспешная беседа, в которой я впервые услышал имена Хабермаса, Рикёра, Гадамера и, вероятно, многих других выдающихся западных коллег. Общась в Нелей Васильевной позднее, мы часто вспоминали эти встречи.

Надо сказать, что отношение к факультету со стороны коллег из Института философии было весьма критичным, если не сказать сильнее. Некоторые коллеги из института нас называли «болотом», «сточной канавой», как только не называли. Поэтому уже сам факт приглашения людей оттуда мог рассматриваться как своего рода сепаратные переговоры с противником. Для такого критического отношения были аргументы, и немало, но надо сказать, что тогда подавляющее большинство сотрудников института были выпускниками факультета, некоторые писали свои дипломы и диссертации у Асмуса, Овсянникова, чем мы похвастать-

ся уже не могли. Уже закончив факультет, я полюбил бывать в «желтом доме» института на Волхонке и даже какое-то время работал там на полставки. Благодаря милости Иры Борисовой, сделавшей для меня необычайно много, я в неприсутственные дни мог пользоваться компьютером в отделе современной западной философии. На нем я выучился работать на компьютере (купить эту технику домой тогда у младшего научного сотрудника еще не было средств!). Помню, как я набирал на нем текст своей статьи о гностических мотивах в «Смысле любви» Соловьева, напечатанной в «Вопросах философии». На дворе стоял 1995 год. Когда статья была почти закончена, я нажал не на ту клавишу – и весь текст исчез. Пришлось начинать работу заново. Думаю, что подобные истории были почти у каждого, кто в то время соприкасался с новой техникой. Как-то в июне я сидел в секторе, пользуясь почти каникулярным временем – занятий в университете уже не было, и я был тогда свободен как ветер, не имея никаких внеучебных повинностей, а жена со дня на день должна была родить нашу первую дочь. Мобильных телефонов еще не было, и я оставил ей телефон сектора. Когда зазвонил телефон, я сразу понял, в чем дело, и, наскоро выключив компьютер и закрыв дверь сектора, стремглав поспешил домой, перебегая на остановках из одного вагона метро в другой, чтобы сэкономить время и быстрее попасть домой – из последнего вагона на Кропоткинской – в первый на Вернадского. Помню и замечательных институтских людей – сектором заведовал А.М. Руткевич, который вел у меня на первом курсе семинары по индийской и китайской философии. Тамара Андреевна Кузмина давала ценнейшие советы по переводу соловьевской «Софии» и окружала какой-то бережной заботой. Часто приходилось бывать, конечно, и в «русском секторе» – если в «западном» секторе в присутственные дни пили чай с каким-нибудь иностранным печеньем, то в «русском» наливали и покрепче (на кафедре тоже нередко приобщались – фронтовики, Шкуринов, Богатов, знали в этом толк!). В «русском» работал Михаил Николаевич Громов, которого я попросил быть моим научным руководителем по диссертации, всегда благородный, спокойный, рассудительный, доброжелательный. С ним было очень интересно ездить на автобусные экскурсии по подмосковным городам и усадьбам. Душой сектора был Александр Иванович Абрамов, сибарит, эстет, любитель стихов и прекрасного пола. Мне довелось с ним поехать – в начале нулевых мы были в зимнем Саратове, а потом дважды съездили в Иваново и в Плес. В первый раз оказавшись в Иваново, в Энергоуниверситете имени Ленина, на втором в истории «соловьевском семинаре» у профессора Максимова, он сказал, что ему нравится Иваново, потому что два его любимых поэта – это Вячеслав Иванов и Георгий Иванов. Он хотел еще раз увидеть Шишкина без медведей в музее русского пейзажа в Плесе, потому что «с медведями» он не любил. Поэтому мы поехали второй раз, долго ехали в микроавтобусе, на санитарной остановке, кажется в Покрове, я угощал его джин-тоником из банки. Он был счастлив. Потом мы возвращались на поезде, на Ярославский вокзал в пять утра. Помню его на перроне, медленно идущего, с палочкой, он тяжело ходил, у него был диабет. Он издал незаконченную книгу умершего В.Ф. Пустарнакова о французском просвещении, снабдив ее предисловием, которое называлось «О Владимире Федоровиче Пустарнакове и о самом себе». Это был автонекролог. Вскоре он умер. Знаю, что он изумительно готовил плов, но так и не сподобился его попробовать. Хотя он обещал меня пригласить.

В начале 2000-х я познакомился с Вячеславом Семеновичем Стёпиным. Редактор философского отдела Большой российской энциклопедии Юрий Николаевич Попов предложил мне написать проект статьи «Философия в России» для нулевого, стартового тома «Россия». В редакции мы обсуждали этот проект с Аверинцевым, приезжавшим на лето из Вены домой. На дворе стоял 2002 год. А в институте уже почти готовую статью читало начальство. В конце статьи я поместил что-то вроде: «В начале 90-х годов российская философия вышла в мировое философское пространство». Стёпин вызвал меня в свой директорский кабинет и сказал: «Молодой человек, я вышел в мировое философское пространство еще в 1978 году (сейчас могу уже и ошибиться с годом! – А. К.). Мы с Саламом Керимовичем (Гусейновым)

вели секцию на Всемирном философском конгрессе». Однако подарил мне свою брошюрку. Потом мы дружелюбно общались с ним и даже записывали вместе радиопередачу.

Возвращаясь к своему студенчеству и вспоминая свой первый курс, я могу сказать, что он был не такой уж скучный на имена тех, кто остался верен философии и сегодня активно работает, – стоит вспомнить Петра Резвых, Василия Кузнецова, Юлию Артамонову, Марину Мчедлову, социолога Сергея Баркова.

Реальной отдушиной была музыка, концерты. С Никитой Шестаковым, моим другом, начиная с первого курса (мы были в одной группе по французскому языку, который преподавала нам незабвенная Ирина Владимировна Барышева, жена А.Ч. Козаржевского) мы ходили в Консерваторию, зимой ездили в зимний Клин к Чайковскому. Помню, как в Большом зале консерватории объявили исполнение Реквиема Моцарта, дирижировала Вероника Дударова, чуть ли не единственная на весь Советский Союз женщина-дирижер. Я сагитировал ехать двоих однокурсников, а в тот день была физкультура в Манеже (так назывался один из крытых спортивных залов рядом с учебным корпусом). Со спортивной формой и сумками наперевес, мы отправились на улицу Герцена и обнаружили там столпотворение. Билетов на Реквием было не достать, нечасто тогда исполняли духовную музыку, даже западную. Тогда я придумал хитрый маневр, зайдя со служебного входа я жалобно попросил тетеньку, сидевшую на вахте, нас пустить. «Я-то пушу, а вот дальше что вы будете делать?» – сказала она, непонятно почему войдя в положение незадачливых меломанов. А дальше – мы поднялись за кулисы, где оркестранты курили и готовились к исполнению, и прямо через сцену Большого зала проникли в партер. Но здесь я совершил тактическую ошибку: вместо того чтобы в зале дожидаться первого звонка, я продолжил штурм дальше и повлек моих товарищей в фойе. Тут на нас набросилась одна из билетерш с угрозой вызвать милицию. Но мы стремительно ринулись вперед и поднялись во второй амфитеатр на самые последние ряды (скамьи, кто помнит структуру зала), где и выслушали весь Реквием. Чуть позднее в том же зале была исполнена Всенощная Рахманинова Капеллой имени Глинки, тогда еще Ленинградской. На этот раз у меня были билеты в амфитеатр. Много лет церковную музыку не принято было исполнять в концертах, поэтому опять тут был полный аншлаг. На втором номере громко и на весь зал загудела сирена, и дирижер, Владислав Чернушенко, подумал, что балкон просто не выдержал такого наплыва зрителей. Исполнение пришлось начинать сначала. Об этом он рассказал мне много лет спустя, когда судьба подарила мне несколько замечательных встреч с ним в Париже. Таким образом, я выучил Всенощное бдение по исполнению Чернушенко, а Символ веры по архивной записи Шаляпина, которую слушал без конца на своем самом примитивном виниловом проигрывателе «Юность».

Вспоминаю об этом не только потому, что все это оставило яркий след в моей биографии. Это важный поколенческий срез. Мы открывали материк русской православной культуры по-другому, несколько иначе, чем старшие, «шестидесятники» и «семидесятники», уходившие в церковь от безысходности советской действительности, фальши смердящей коммунистической идеологии и скукоты партийных съездов. Это было время надежд и упований, которое я в одном выступлении назвал «временем распечатывания алтарей» – по аналогии с моментом снятия запрета со староверов манифестом 1905 года и открытием заброшенных алтарей на Рогожке. Еще в конце 80-х московским улицам стали возвращать исторические названия (первенцем была Метростроевская, вновь обращенная в Остоженку), но еще задолго до этого мы с жадностью выучивали эти старые названия и открывали для себя московскую старину, а в воздухе витала идея восстановления храма Христа Спасителя. Андрей Вознесенский писал: «Восстановите Сухареву башню». На этом фоне огромный интерес вызывали лекции Андрея Чеславовича Козаржевского, заведующего кафедрой классических языков на истфаке. Один из его циклов так и назывался: «Что таят в себе московские дворики?». Он читал его в большом амфитеатре геологического факультета на 6-м этаже главного здания МГУ (в просторечии – высотки, или ГЗ), сопровождая лекцию показом собственно-

ручно сделанных слайдов, на которых часто фигурировали уже утраченные к тому времени особняки. Он сам перепрыгивал через заборы, делал фотоснимки. Как сейчас звучат в ушах его слова «А там – семнадцатый век!» Сейчас от той Москвы вообще мало что осталось. Этот курс был потом даже повторен в большой аудитории Политехнического музея и при немалом стечении народа. Мое поколение заканчивается на тех, кто успел послушать Козаржевского живьем. Правда, среди таких есть и некоторые первые мои ученики, например Дмитрий Лескин, уже на пятом курсе ставший священником и основавший на своей родине, в городе Тольятти (Ставрополь-на-Волге), православную классическую гимназию в помещениях реконструированного типового детского садика во дворе спального микрорайона и выстроивший там едва ли не первый тольяттинский храм – удивительный храм Всех святых! Теперь он доктор философских наук, член Общественной палаты РФ, ректор Поволжского православного университета, опять-таки им основанного и возведенного. Его судьба наглядно показывает, как много может сделать в истории страны один человек. Так вот, уже потом он рассказывал, как Козаржевский читал свою последнюю лекцию, прощался со студентами: из уст его звучал монолог Ивана Карамазова про «клейкие кленовые листочки», а в глазах стояли слезы.

Мы читали Гиляровского и Кокорева, с жадностью доставали и впитывали альманахи «Встречи с прошлым», а потом и замечательный журнал «Наше наследие», который, наряду с прочими открытиями, стал обстоятельно знакомить с жемчужинами русской философской классики (и по сей день безмерно благодарен его редактору Владимиру Петровичу Енишерлову, хотя лично встретился с ним только один раз, когда мы в конце нулевых задумали и начали выпускать журнал «Сократ», пытаясь в чем-то подражать стилю «умного глянца» «Нашего наследия»). В то же время я вспоминаю лето 1986 года как душное и довольно беспросветное время. Сначала я бессмысленно тратил время в московском стройотряде, перекладывая бордюры возле главного здания МГУ, затем полтора месяца собирал картошку в селе Семеновском, из-за чего начало учебы на втором курсе было отложено аж на 40 дней. Помню, как я с трудом отпрашивался на 15 минут опоздания на кладку бордюров, чтобы выкупить в «Университетской книге» невостребованный по «открытке» том диалогов Платона. Я не вижу в этом никакой студенческой романтики, но лишь казенное, абсолютно бессмысленное и безалаберное отношение к студентам и профанацию самого процесса обучения. Нам будто давали понять, что студентам не стоит слишком ревностно проявлять себя в науке.

Пока я клал бордюры, некоторые из моих однокурсников и одноклассников, например Петр Резвых и Василий Молодяков, тогда студент японской группы Института стран Азии и Африки при МГУ, отправились служить в армию. По андроповскому приказу студенты лишались права на отсрочку, давали лишь сдать сессию. Далеко не всем, в отличие от упомянутых мной ровесников, которые не только завершили учебу в МГУ, но и составили себе доброе имя в науке, удалось вернуться и снова втянуться в учебу. В 1987 году, после окончания второго курса, отправился на два года служить и я. Это было бы отдельной темой для воспоминаний, тем более что там тоже мне довелось повстречать немало замечательных людей, в том числе и моего поколения. Как и не очень замечательных, просто в той обстановке эта поляризация более явна и очевидна. Меня занесло в Нагорный Карабах, на моих глазах происходило зарождение того самого карабахского конфликта, который периодически обостряется с тех пор кровопролитием и войной. И я мог судить о плодах горбачевской перестройки не только по передовицам центральных газет и риторике партийных пленумов. Из армии я прихватил с собой, что называется, в кармане камуфляжа, книжку Лосева о Соловьеве, два экземпляра этой книжки оказались в библиотеке пограничного отряда. Только потом я узнал, что таким образом ее «убирали» из Москвы и центральных городов. Видимо, думали, что пограничники ее точно читать не будут. Они ошибались, среди них были весьма любопытные и образованные люди, в том числе и студенты Московского университета.

Возвращение на факультет произошло в 1989 году. Факультет был тот же, да и страна та же, но не совсем. Уже ушел в отставку декан А.Д. Косичев, принимавший меня на факультет и в полной мере олицетворявший советскую философию, и успел побывать и. о. декана Ричард Косолапов, бывший редактор журнала «Коммунист». Деканом к моменту моего возвращения стал Александр Владимирович Панин, человек мягкий и интеллигентный, он встречался с К. Поппером, любил Михаила Булгакова и даже водил экскурсии со студентами по булгаковской Москве (но это было уже после его деканства). Конец 80-х, а в еще большей степени начало 1990-х было временем настоящего интеллектуального подъема, связанного не только со сломом существующих политических режимов, но и с переменой культурных, образовательных, просветительских парадигм. В 1988 году на факультете появилась кафедра истории и теории мировой культуры. После окончания основных пар лекции стали читать С.С. Аверинцев, В.В. Биbihин, Е.М. Мелетинский, М.Л. Гаспаров, А.Я. Гуревич, Г.С. Кнабе, Вяч.Вс. Иванов, О.А. Седакова, один раз приезжал с гостевой лекцией Ю.М. Лотман, в большом конференц-зале выступал Жак Деррида. Иногда возникала дилемма, кого слушать – скажем, Гаспарова или Биbihина, курс по русской поэзии XVIII века или по раннему Хайдеггеру. Возникла даже какая-то ревность со стороны остальных преподавателей факультета, которые в большинстве своем невзлюбили новую кафедру, а в ее преподавателях стали видеть конкурентов. И правда, у лекторов с этой кафедры не было такой нагрузки, а именно она, рутинная преподавательской работы, ранние первые пары, бесконечное чтение курсовых и рефератов, ведение семинаров и составляет основную и далеко не парадную часть жизни университетского преподавателя. Маститые ученые образовали что-то вроде факультета внутри факультета, который жил по своим законам, по стилю преподавания приближаясь скорее к западному университету. И именно в этом причина довольно быстрого конца этой утопии республики гуманитариев. На кафедре мировой культуры мы столкнулись с совершенно иным, чем общие курсы, типом подачи материала, у Аверинцева каждая лекция превращалась в мини-исследование, в погружение в какую-то проблему, Вяч.Вс. Иванов, напротив, любил растечься мыслию по древу, блеснуть своей эрудицией и знакомством с Пастернаком. Увлекательно, интересно читал Михаил Леонович Гаспаров то про русское стихосложение, то про античность (потом эти лекции составили главы «Занимательной Греции»). Гаспаров сильно заикался, из-за чего с ним трудно было беседовать. Однако во время лекций он преодолевал свое волнение, мерно и последовательно, немножко механистично излагал материал, а затруднение в речи как-то помогало сосредоточиться на том, что он говорил. Помню, я встречал его в тесном читальном зале РГАЛИ, когда начал заниматься с архивом Владимира Соловьева. Гаспаров целый день сидел над рукописями, непонятно было, когда он ел. Когда его привезли в академическую больницу, его не хотели там принимать – «так академики не выглядят!» Аверинцев любил говорить: «о нас скажут, что мы жили в эпоху Гаспарова». Сам Сергей Сергеевич не был лишен высокой самооценки, но это тоже был урок – надо возвышать не себя, а того, кто рядом с тобой (если, конечно, он этого и вправду достоин!).

Я считаю это время на философском факультете лучшим, может быть, даже во всей его истории: мы имели возможность слушать уникальную группу ученых, никогда больше не собиравшихся в одном месте. Большая заслуга в этом Валерия Яковлевича Саврея, тогда студента, который выступил с инициативой создания такой кафедры и вел переговоры с учеными, и поддержавшего его заместителя декана по учебной работе Владимира Васильевича Миронова. Подключать пришлось даже Раису Максимовну Горбачеву, тогда первую леди СССР. Вернувшись из армии, я даже не помышлял о том, чтобы пойти специализироваться на эту кафедру. Учебный план изменился, и специализация уже началась со второго курса, нужно было сдавать огромную «разницу». Кроме того, туда был жесткий отбор. Это уже потом, на четвертом курсе, когда я в двух семестрах сдавал зачеты С.С. Аверинцеву по «Истории христианской культуры», он предлагал мне перейти к ним. Каково же будет мне потом

встретить моего кумира в коридоре римской гостиницы в 1997 году. По приглашению Патрика де Лобье мы едем встречаться с самим Иоанном Павлом II (теперь он святой!), и Аверинцев будет бродить с нами по тесным улочкам Трастевере, рассказывая так, будто он сам житель древнего Рима. Со временем кафедра начала рассыпаться, люди стали переходить в РГГУ или уезжать за границу. С тем же Аверинцевым мы проводили конференцию в стенах РГГУ (бывш. Университета Шанявского) под патронажем Ю.Н. Афанасьева.

Я оказался на новом курсе, это были ребята, которые пришли на факультет уже без целевок от КПСС. Но узнаваемые типажи остались, точно так же можно было выделить отличника, активиста, карьериста. Впрочем, на кафедре истории русской философии образовалось какое-то удивительное сообщество. Странно, что кафедра смогла привлечь к себе значительную часть наиболее сильных и увлеченных студентов факультета. Если не ошибаюсь, то число специализирующихся доходило до 14 человек на курсе. Борис Межуев, Юлия Синеокая, Игорь Чубаров, Андрей Лавров, потом присоединился и Олег Никифоров. Валера Анашвили, который хотел переводить Брентано и привнести на русскую почву феноменологическую традицию, был на соседней кафедре истории зарубежной философии. Конечно, каждый видел философию и по-своему организовывал практику своего любомудрия.

С моего возвращения на факультет (сентябрь 1989 г.), я слышал о заседаниях тайного кружка «Летописец», в котором сам стал потом участвовать. Предводителем был Дмитрий Барам, преподававший философию в физкультурном институте. Мы часто встречались с ним в большом красивом овальном зале Фундаментальной библиотеки, или Горьковки, на Моховой. На столах стояли лампы с белыми плафонами и мраморными подставками, к которым мы стаскивали книги, заказанные из хранилища по требованию. Чем больше гора книг, лежащая перед тобой, чем больше старых корешков дореволюционной литературы и журналов, тем больше твоя харизма среди однокурсников. У Барама книг было больше всего, видимо, это было необходимо для подготовки семинаров для будущих физкультурников. Иногда мы ходили пить кофе, особенно в субботу, когда мы занимались целый день, в кофейню на улице Герцена, рядом с Консерваторией. Вроде бы раньше там была книжная лавка, за прилавком которой стояли Николай Бердяев и Михаил Осоргин. Даже если она была не там, а где-то поблизости, это не было так существенно. Улица Герцена еще не стала снова Никитской, асфальт был раскопан, прокладывали какие-то трубы. Барам славнофильствовал и шутил: «Русская интеллигенция гибнет под колесами американского трактора». Кофе варили в турке, и к нему были оладьи с двумя видами соусов – шоколадно-ореховым и сметанным. Получше многих современных сетевых кофеен!

Собрания кружка проходили на квартирах, часто в тех же дворничих, у Игоря Чубарова, в переулке Аксакова, неподалеку от очень московской по виду и по духу Филипповской церкви, словно вросшей в землю вместе со своими куполами. Квартира была большая, был даже рояль. А вот была ли горячая вода, я не уверен. В такой квартире можно было заниматься философией и выпивать, а вот как в ней было строить быт и растить маленькую дочку?! Делали доклады, извлекали мудрость из Хомякова, Кудрявцева-Платонова и еще кого-то. До сих пор благодарен этим собраниям, потому что ради них прочел хомяковскую «Семирамиду». Барам учил нас, что подлинной философией является метафизика, что на политику и иную чепуху времени тратить не стоит. Вообще это время вспоминается как довольно аполитичное, хотя именно тогда вскрывается правда о масштабах сталинских репрессий, публикуется огромный массив запрещенной в СССР литературы, нарахват расходятся номера «Огонька», «Московских новостей» и «Литературной газеты». С.С. Хоружий придумывает словосочетание «философский пароход», создающее ощущение, что настоящая философия уплыла от нас и растаяла в белой дымке за Кронштадтом.

Чубаров занимался расшифровкой рукописи бердяевского «Самопознания», потом Шпетом. Я на почве интереса к Соловьеву начал переводить написанную на французском языке «Софию», по-русски прежде никогда не публиковавшуюся. Общим был запрос на воз-

рождение, воссоздание, открытие чего-то недоступного и запретного. Постепенно этот запрос отлился в представление об утраченных традициях. Новые журналы называли не абы как, а апеллируя к существовавшим до революции изданиям. В наших думах нас питали непомерные амбиции, но мысль о их реализации была очень созвучна тому, как С.С. Хоружий назвал свою книгу 1994 года – «После перерыва». Надо было что-то возродить, к чему-то вернуться, что-то начать заново. Это, мне кажется, отличает дух моего поколения, является его главным достоинством и в то же время недостатком. Мы не собирались ничего начинать «с чистого листа».

Надо сказать, что именно наше поколение оказалось главным работником на поприще издания философского архива XIX – начала XX века. Модест Колеров с Николаем Плотниковым издали «Вехи», а потом (в 1996) приступили к изданию серии «Исследования по истории русской мысли». Сами ежегодники этой серии и ее библиотечка – может быть, главное и наиболее существенное из того, что сделано по истории русской мысли за эти годы. Разный политический выбор разметал прежних единомышленников, однако и Николай Плотников, уехавший в Германию, не погасил свой исследовательский запал по отношению к русской мысли, реализовал несколько интересных проектов – по дискурсу персональности, по истории ГАХН, в некоторых из которых мне довелось участвовать. Следует отметить и Татьяну Щедрина, приехавшую в Москву из Владивостока (помню ее выступление на Ломоносовских чтениях у нас на кафедре в районе 2000 года), которая вместе с Мариной Густавовной Шторх, дочерью Шпета, издала более 10 томов наследия ее великого отца. А сколько сделано филологом Анастасией Гачевой, унаследовавшей черты трудолюбия и философского эроса от своих родителей, Георгия Гачева и Светланы Семенович! А Елена Тахо-Годи, не только поднявшая со дна целый айсберг лосевских черновики, но и написавшая немало и помимо лосевских штудий. Такие примеры можно множить. И речь, кстати, идет не только о русском срезе. Недавно ушедший Роберт Бёрд, наш ровесник, тоже был прекрасным знатком архива Серебряного века. Все это, бесспорно, еще будет осмыслено, я надеюсь. Но позже и не нами.

Время пробуждало в нас стремление разрушить квиетив и найти новое философское дело. Возникали издательства, некоторые из которых живы и продуктивно работают до сих пор. Нас горячо не устраивала там общая атмосфера, в которой мы оказались. Журнал «Логос», который затеял Валера Анашвили курсе, кажется, на третьем, был ремейком одноименного международного ежегодника, выходившего в 1910-е годы в России и Германии. Журнал «Начала», который издавали Александр Казарян и Наталья Скоробогатько, возрождал традиции русской религиозной философии. Первый из породы православных интеллигентов, соратников внука Флоренского отца Андроника. Был благороден и тих, скуп на комментарии, но как-то внимательно и душевно расположен. Наталья Владимировна работала в МАИ, вообще журнал как-то аффилировался с МАИ, и после череды житейских неурядиц, весьма серьезных, стала православной писательницей, оставила философию и из Москвы уехала, чтобы поселиться при монастыре. Такой уход, встречавшийся и ранее в русской культуре, вспомним Константина Леонтьева или поэта Александра Добролюбова, был гораздо достойнее церковно-патриотической риторики бывших членов ЦК КПСС и секретарей обкомов. Каждый номер «Начал» был тематическим – посвященным Леонтьеву, Розанову, Флоренскому или Лосеву. Именно здесь еще в студенчестве вышла моя первая публикация «Константин Леонтьев и Владимир Соловьев: диалог в поисках русской звезды». В ее основе был мой доклад на Леонтьевской конференции в Калуге под эгидой – сейчас это может показаться странным – Калужского обкома КПСС. В те парадоксальные времена конференцию, посвященную «мракобесу», контрреволюционеру и православному консерватору, проводил областной партийный комитет и, в частности, организовал выезд участников в Оптину пустынь. Однако тогда мы не особенно задумывались о том, почему именно Калужский обком свозил нас в только начинавшую свое возрождение Оптину.

Фальшь очень хорошо мы чувствовали уже тогда. Надо сказать, что в кругу «Начал» практически не было фальши. Благодаря этому кругу мы познакомились и с А.В. Соболевым, и с его другом и всегдашним оппонентом С.М. Половинкиным. Помню, как Альберт Васильевич, любитель старой Москвы и знаток дворянской генеалогии, приходил к нам на кружок «Летописец» с диапроектором показывать дома, где жили философы и были редакции философских журналов, и рассказывал о старой Москве. Особенно колоритен был Виктор Сукач, знаток и ценитель Розанова. Окончивший философский факультет за десять лет (его все время отчисляли) и работавший в «Мысли» младшим редактором (кажется, именно он редактировал злосчастную сосланную в XX век книгу Лосева о Соловьеве), он звал в свою комнату на Петровском бульваре, на последнем этаже старого доходного дома, откуда виднелись купола старой Москвы, и разливал особым образом чай из чайника, куда вытряхивались пакетики, в чашки, поставленные прямо на дощатом полу. Бесценен для нас был и опыт общения с Николаем Всеволодовичем Котрелевым, который подошел ко мне в РГА-ЛИ, когда я сидел над рукописями Соловьева, и сам решил со мной познакомиться (ему нужны были папки, заказанные мною). В тот же день я пригласил его прочитать нам спецкурс по текстологии, а тогдашний декан А.В. Панин на мои слова, что мы хотим, чтобы нам читал «ученый с мировым именем», сразу же сказал: «Ну что же, давайте возьмем его на полставки». Его редкие семинары, надолго прерывавшиеся зарубежными поездками (его только начали выпускать за рубеж), иногда переносившиеся в арбатскую квартиру, в конце старого Арбата, тогда уже «офонаревшего», надолго запомнились нашей группе и, возможно, еще одному-двум курсам после нас.

Издание русской философской классики в приложении к журналу «Вопросы философии» началось в 1989 году по постановлению Политбюро ЦК КПСС. К комментированию ряда томов были привлечены ученые, много лет занимавшиеся русской философией с любовью и всерьез С.С. Хоружий (Булгаков), Н.В. Котрелев, Е.В. Рашковский (Соловьев), Е.В. Барбанов (Розанов), А.В. Ахутин (Шестов), Л.В. Поляков (Бердяев), но были и люди нашего поколения – Модест Колеров и Николай Плотников составили и качественно прокомментировали том «Вехи/Из глубины». С.С. Хоружий отметил одну сторону медали, впрочем реально существовавшую, описав процесс присвоения наследия русской философии представителями специальных учреждений и партийных органов и дав этому вполне нелицеприятное название – «о мародерах». Процесс этот, в определенном смысле, продолжается и по сегодняшний день, когда под одним корешком иногда ратуют собрать и жертв, и их палачей, выдавая это за историческую справедливость, объективность и прочие псевдонаучные фетиши. Однако была и другая сторона, когда наши учителя, создавшие себе имя и немало потрудившиеся в философии, открывали для себя русскую философскую классику и прекрасно писали о ней. Тут и П.П. Гайденко, и Н.В. Мотрошилова, и В.П. Визгин, к этому ревностно относились старожилы, аксакалы и книжники – С.М. Половинкин, А.В. Соболев, В.Г. Сукач, которые уже к тому времени составляли свое, не вполне официальное сообщество любителей русской культуры, словом, нам было на кого ориентироваться, было с кого брать пример.

А тут еще со своим «Бесконечным тупиком», напечатанным на какой-то самиздатской технике в виде отдельных тетрадок, ворвался Дмитрий Галковский, смутивший многих своей иронией и в самые первые его годы ложкой дегтя испортивший всю бочку меда русского религиозного ренессанса. Помню, как тогда Игорь Чубаров, до этого предававшийся ортодоксальному zelotству, с придыханием произносил слово «провокативность». Галковский со своим *opus magnum* сыграл роль эдакого Канта-искусителя. Так в первом номере «Логоса» появился фрагмент «Бесконечного тупика», в котором Галковский в пух и прах разносил Владимира Соловьева – «так подрастал гаденыш». Это была хорошая вакцина от того, что Хоружий назовет словосочетанием «тошнотворный сюсюк». Тогда мы еще не знали, что гораздо более изощренно Соловьева ругал Розанов, которому Галковский тужился подражать. Однако в отличие от Розанова, дарившего Московскому университету свои издания с трога-

тельными надписями, Галковский опубликовал пасквиль в «Независимой газете», в котором поиздевался над своими учителями с факультета, а потом стал издавать журнал «Разбитый компас». Также в отличие от Розанова, который перед смертью ездил из Сергиева в Москву, чтобы поцеловать ручку своему учителю профессору Герье, Галковский никому рук целовать не приедет. В этом тоже можно увидеть что-то поколенческое. Но факт: именно после «Логоса» все стали печатать Галковского – «Логос» стал едва ли не первым изданием, рискнувшим его опубликовать. Его примеру последовали «Новый мир», «Континент», Вадим Кожин внезапно полюбил Галковского, обнаружив у того монархические идеи. Игорь Виноградов увидел что-то созвучное чаяниям интеллигенции новомирского круга и т. д. Другой ложкой дегтя стало репринтное переиздание «Путей русского богословия» Флоровского. Так и не задалось: одни пошли кто в западники, кто в леваки, кто прочь из философии, другие в церковь, в «византизм», в «политический исихазм» и проч. Самое интересное в судьбе поколения это не то, что объединяет, но те точки разрывов и бифуркаций, где происходит размежевание. В этой логике и должна быть написана история поколений.

Проблематика журнала «Начала» лежала примерно на линии книгоиздательства «Путь». Вектор развития «Логоса» – более западнический, связанный с наследием дореволюционного неокантианства, «Логоса» Степуна, Яковенко, Гессена. «Логос» начала XX века также в известном смысле противостоял книгоиздательству «Путь» и журналу «Вопросы философии и психологии». Когда возник «Логос», тираж «Вопросов философии» составлял около 80 тысяч экземпляров, это был сверхпопулярный журнал среди не только философов, но и гуманитариев самого широкого спектра, и даже массового читателя. Достичь этого удалось во многом благодаря архивным публикациям статей, а иногда даже и целых книг Соловьева, Бердяева, Лосского. «Логосу» предстояло конкурировать с этим маститым, раскрученным журналом, собравшим светил тогдашней академической философии. Фролов, Стёпин, Лекторский – авторитетные ученые, занявшие прочные позиции в философии. Естественно, амбициозных молодых людей, заявивших, что будут издавать свой журнал, никто не принял всерьез. Ожидали, что получится в лучшем случае студенческий альманах, один-два номера. Однако «Логос» пережил и второй, и третий номер и в существенно измененном виде (он уже не ограничивает себя только феноменологическими штудиями) существует по сей день.

Мы с Чубаровым забирали тираж первого номера из типографии в Саранске, где в тот момент уже печатался второй номер. На обложке должен был оказаться Гераклит, однако качество печати выдавало не то облако, не то серую мешковину. Я хорошо запомнил количество пачек с журналами, которые нам предстояло перевезти – 66 упаковок по 20 экземпляров в каждой. Еще продолжали функционировать какие-то советские логистические механизмы: мы привезли весь тираж в товарное отделение железнодорожной станции в надежде отправить журнал почтовым грузом. На станции назвали какую-то астрономическую цифру, сопоставимую, наверное, с расходами на печать всего тиража. Нам пришлось в голову убедить ответственных лиц, что небольшие пачки журнала никак не тянут на отдельное багажное место. Нам неожиданно пошли навстречу, посчитав все пачки как два (!) багажных места и оценив перевозку в какую-то совершенно смехотворную сумму. До Казанского вокзала Москвы тираж добирался примерно неделю. Публикация перевода соловьевской «Софии» началась со второго номера журнала, тираж которого мы забирали в том же пыльном Саранске. Я работал над этим переводом четвертый и пятый курсы, мало еще что умея, сидел в РГАЛИ, переводя прямо с рукописи. Сразу после его выхода пошли разные забавные звонки. Кроме философов, с интересом отнесшихся к моей работе, звонили «гностики». Один человек говорил, что его жена принимает откровения от Матери Мира, очень похожие на текст Соловьева, предлагал нам публикацию 300 страниц этих откровений. В «Логос» потянулись какие-то необычайные люди. Некий господин прислал трактат под названием «Каталепсия», сообщив попутно, что живет на Урале и может изготовить любой памятник из мрамора. Наверное, так происходит с любым новым изданием – особого сорта люди находят в нем поле приложения

своих экстраординарных метафизических способностей. Редакции «Логоса» была выделена тесная комнатка на философском факультете. Крошечное помещение в 5 или 6 квадратных метров на 10-м этаже, где проходил «секретный» лифт – его шахта отнимала часть пространства. Туда мы могли сгрузить часть тиража, там стоял стол и был даже телефон, по которому можно было позвонить в редакцию. Этот номер мы указали на своих визитных карточках рядом с логотипом «Логоса» – с буквой «Л» в виде не то клоуна, не то ангела. Иногда, еще студентом, сидел в этой комнате и я. Было очень необычно иметь ключ от собственной секретной комнаты на факультете, куда можно прийти и уединиться, иногда обратиться членам редакции. Там я готовился к семинарам, отвечал на звонки каких-то людей, интересовавшихся журналом и предлагавших свои статьи к публикации. Впрочем, чаще звонили на домашний телефон, тоже указанный в визитках.

Особой темой нашего старшего студенчества были выездные школы, в пансионате МГУ в Звенигороде, потом еще в каких-то других пансионатах. В бюджете университета под это были выделены огромные деньги. Помню, что на школу предусматривалось 10 тысяч рублей, что даже при инфляции представляло собой огромную сумму. Я был заместителем председателя студсовета факультета и сумел организовать как минимум три таких школы. На пятом курсе мы провели подмосковную выездную школу в Пестове, на Можайском море, которую посвятили феноменологии. Фактически это была школа журнала «Логос». Все было организовано очень здорово: около 30 человек на пять дней заполняли пансионат, а между местом проведения школы и Москвой каждый день ездил автобус, привозивший докладчиков за 100 км от города читать лекции. Это была не столько конференция, сколько серия мастер-классов именитых столичных лекторов. Помню, как на одной из таких школ мы сидели вечером за бутылкой рислинга с Георгием Степановичем Кнабе, который читал курс лекций на факультете, и Борис Межуев ставил нам кассету с записями рок-группы «Крематорий». Кнабе, знаток Древнего Рима и автор книги о Таците, слушал с неослабевающим вниманием (кажется, магнитофон «Весна» был не совсем исправен и проигрывал музыку несколько быстрее, чем было нужно), а в конце глубокомысленно произнес «Это очень значительно и чувствительно!» Я писал тогда стихи, впечатленный Бродским, и давал их на суд того же Кнабе. У меня до сих пор хранится машинопись моих стихов с его пометками, иногда весьма одобрительными.

Ректор РГГУ Юрий Николаевич Афанасьев пригласил нас (круг «Логоса») к себе в кабинет и предложил устроиться на работу в РГГУ. Встреча проходила в его маленьком кабинете в Историко-архивном институте на Никольской – комплекса зданий на Миуссах у РГГУ еще не было. Член межрегиональной депутатской группы, либерал, один из авторов реформ, одетый в рубашку с короткими рукавами, сказал: «Нам нужно создать феноменологическую лабораторию». Это было похоже на партийное задание: «Надо провести в жизнь решение июльского пленума ЦК». По каким-то причинам мы не поддались соблазну принять это приглашение, и за создание философского факультета взялся Владимир Калиниченко, симпатичный человек, с теплотой вспоминая о Мерабе Мамардашвили и устроивший семинар по чтению Гуссерля, на который я несколько раз приходил. Запомнилась его мягкость и в то же время сетования на то, что создавать факультет можно только с руками «по локоть в крови». Видимо, первое все-таки пересилило. Обещанной ректором квартиры он так и не получил, жил в общежитии. Потом его отправили в Вятку, откуда он был родом. Он был заядлый охотник, а в Москве охотиться было негде. В Вятке он заведовал филиалом РГГУ. Там были какие-то темные истории. Он рано умер. Половинкин говорил: «Мой крестник Володя Калиниченко».

Контактировать с людьми было несложно. Это сейчас они выглядят уставшими, погребенными под ворохом приглашений и обязательств, а тогда сохранялся некий вакуум, многие ждали, когда их позвуют, и были готовы печататься бесплатно. Советская институциональная философия была жестко идеологической, и ротация статей в «Вопросах философии»

фии», «Вестнике МГУ» требовала соответствия строгим формальным и неформальным критериям. Это не значит, что там не могли напечатать какую-то статью по истории философии, но автор должен был быть как минимум доцентом очень солидного вуза. Считалось, что, если печатают, тебе оказывают немислимое благодеяние с почти непременным блатом. Естественно, в «Логосе», да и не только в нем, у нас как у поколения, почти не знавшего идеологического прессинга, было очень отрицательное отношение ко всему этому. Мы решили, что критерий будет один – внятность и научная состоятельность, какой мы ее тогда видели, соответствие определенным критериям научности. Я лично никогда глубоко не занимался феноменологией, и феноменологический крен «Логоса» мне не был близок. Возможно, поэтому я и пробыл в редколлегии «Логоса» не очень долго, кажется, во втором, третьем и четвертом номерах. Впоследствии я сотрудничал с журналом в тех или иных формах, переводил, писал рецензии. Когда мы звонили авторам и предлагали напечататься в новом журнале с собственной философской программой, ориентацией на определенную школу мысли, они откликнулись с готовностью и крайне благожелательно. Я помню только один случай отказа, когда мы пришли к выдающемуся логик Властимиру Александровичу Смирнову, завсектором логики в Институте философии. Он с некоторым недоверием к нам отнесся и сказал: «“Логос” – это какой-то, знаете, мистический, ненаучный журнал». Для авторитетного логика он и впрямь, наверное, был слишком мистичен. В философии существуют разные парадигмы верификации научного знания, и отвечают им лишь некоторые ее части и разделы. Мы и тогда, и сейчас общаемся с Виктором Игоревичем Молчановым, который плодотворно и успешно работает в РГГУ, переехав в Москву из Ростова-на-Дону. Он иногда приходит в Дом Лосева на наши семинары по русской философии, и опубликовал ряд блестящих статей по русской философии, например о «теоретической философии» Вл. Соловьева, которую он оценивает с позиций человека, внутренне прожившего феноменологию.

Важной вехой в нашей судьбе был август 1991 года. Как ни усугублялась перестройка, «лебединое озеро» и стальные дикторские сводки о «путче» били ледяным обухом по голове. В это не хотелось верить, с этим не хотелось смириться. Как ни трудны были последующие годы, как ни трагичен был распад СССР (этим событием он еще не был до конца предопределен), возвращаясь к тем дням, я бы не поменял сейчас свою позицию. Для меня это время еще было ознаменовано и очень личными событиями. В праздник Преображения мы с моей подругой, а в будущем женой, пошли к Белому дому (через кофейню на Герцена, разумеется). А оттуда поехали в Переделкино на кладбище к Пастернаку. После путча кафедре вернули ее историческое название – «кафедра истории русской философии» (по моему предложению, кстати, – представители студенчества входили тогда в ученый совет факультета!). В этом не было никакого национализма и шовинизма, ведь никто из нас не стесняется произносить сочетания «немецкая философия» и «английская философия», равно как никто и не утверждает, что разговаривает на «русском» языке. Напротив, это казалось освобождением от догм и иллюзий, на смену которым потом непременно придут другие догмы и иллюзии. Свято место пусто не бывает. Падение СССР и падение Берлинской стены тоже были важной вехой нашего поколения. Своего рода путевкой во взрослую жизнь. И впервые оказавшись на Западе, награжденный студсоветом поездкой в Берлин на недельную школу, сразу же по окончании университета и прямо перед свадьбой, я уже спокойно ехал на автобусе из Восточного Берлина мимо Рейхстага и Бранденбургских ворот к Зигезолле, а там и к Зоологическому саду в Западном городе, и вовсе не ощущал ирреальности происходящего. Перед нами открывался мир, открывались двери европейских соборов и музеев, с хранимым там Брейгелем и Босхом, фресками Равенны и алтарями Яна ван Эйка. Всё, казалось, идет как надо и куда надо, и будет хорошо. Мы всё-таки поколение оптимистов, несмотря ни на что.